

**Н О В Ы Й**

**М И Р**

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И**

**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ**

**Ж У Р Н А Л**

**К Н И Г А**

**В Т О Р А Я**

**Ф Е В Р А Л Ь**

---

**М О С К В А**

**1 . 9 . 2 . 9**

# Горная страна Памир

## ПОГРАНИЧНИК

Предлагаемые заметки составлены по дневнику полугодового путешествия на Памир, совершенного мной весной и летом 1927 года. Работая в районах горного Таджикистана в качестве «регистратора демографической переписи ЦСУ, знающего туземный язык», я имел возможность близко сталкиваться с населением этой «западни народов», во многих отношениях представляющем этнографическую загадку. Для того, чтобы уяснить себе, что такое Памир, следует помнить, что он разделяется на две различные страны. Западный Памир — верховья реки Пяндж с притоками — страна головокружительных тропинок, зеленых долин, земледельцев, разводящих шелковицу и вспахивающих поля гималайского жита. Другой Памир — это Восточный, Крыша Мира, унылое, пересеченное горными хребтами нагорье, страна вечного холода, кочковатых лугов и мохнатых яков. Все это отделено от нас цепями высочайших в мире гор, примыкающих с юго-запада к узлу Гиндукуша и с юго-востока к высотам Каракорума. Выехав из Дюшамбе, столицы ТАССР, я попал в город Ош, проделав, таким образом, две тысячи километров верхом и сто пятьдесят километров пешком через весь Памир. Это было странное для меня лето, — четыре раза я переходил из страны ледников и снежных буранов к душным ущельям, где дозревали абрикосы и сладкий тут.

### 1. Перевал Бом

В Гарме снег почти стаял, хотя горы были белы, как меловые глыбы, и долина казалась сдавленной среди огромных стен, отливавших молочной синью. По утрам телеграфисты с почтовой станции согревались стаканом водки и шли купаться в бурный ледяной Сурхаб. Я ночевал в единственной гармской чай-хане, на крохотном базарчике, где два раза в неделю собирались окрестные торцы, приторговывая спички, мыло, табак для жевания и свечи в обмен на свои непромокаемые чекмени, высокие чулки, деревянные туфли, посохи, гребешки и проч. дребедень. Покупателями на этом базаре были, главным образом, русские, которых в Гарме наберется человек с 50. К чай-хане примыкала маленькая улочка, заканчивавшаяся зданием исполкома гармского вилайета (области) и небольшим тенистым садом, принадлежавшим прежде наместнику Каратегина, столицей которого когда-то был Гарм.

Здесь, от последней телеграфной станции в горах, должно было начаться это путешествие. Я жил в Гарме 10-й день и никуда не мог тронуться. Зимние перевалы в Дарваз были закрыты из-за распутицы, а летние еще не открылись. Я валялся в чай-хане без дела, дожидаясь известий об открытии перевалов. Наконец, мне это надоело. Я отправился в вилайетский исполком,



чтобы попросить верховую лошадь. Я по опыту знаю, что наем лошадей в селениях, по приказу исполкома о доставке «улю» (средств передвижения), сопряжен с большими трудностями. Меня встретил Азизулло Азизбеков, член вилисполкома. — Таксыр, — сказал он мне, по неистребимой привычке каратегинцев титулуя своего собеседника, — есть пословица, что никогда не надо торопиться в ад. Вы всегда успеете попасть в Дарваз! Посидите в Гарме еще месяц, попейте с анджинорами (инженерами) вино, а потом потихоньку возвращайтесь в Дюшамбе, и не надо вам ни Дарваза, ни Памира. — Я отвечал сухо и твердо, что еду по делам службы и отменить поездку не могу.

— Пожалуйста, как хочешь, душак-командир! — продолжал тогда Азизулло, — не отменяйте поездку! Поезжайте в Дарваз. Мы достанем лошадь. Здесь есть один дарвазский горец, владелец прекрасного коня. Мы попросим вас взять три пуда казенной почты. Она лежит у нас месяц и никто не брался ее доставить. Доставьте ее — скажем спасибо. У нас есть другая пословица: если надо посылать в ад, то пусть едет один человек, а не два. Один человек долины, — горцы не в счет.

Через час после этого разговора рослый светлоглазый таджик из Даштака, в красной чалме и коротких штанах, привел мне коренастую и ободранную горную лошадь. Мы выехали в тот же день, после полудня, по дороге к узкому мосту через Сурхаб. Хозяин лошади шел за мной пешком, покрикивая на лошадь и говоря: «Эй, командир, скорее, гони коня!». Я гнал коня, неудобно устроившись на «палане» (вьючном седле), через который была перекинута переметная сумка с почтой. Однако, долго гнать не пришлось, потому что за селением Хумдон начался крутой и ровный подъем. Горы были завалены рыхлым снегом, и с перевала в долину дул ледяной ветер, иголками впиваясь в лицо. Почти все время приходилось пускать коня вперед и самому, держась за его хвост, плестись сзади и вязнуть в сугробе по колена. Особенно трудно дался мне перевал Иофуч, где я чуть не сорвался со скользкой, заледенев-

шей тропы, зигзагами подымавшейся на невообразимую крутизну. Вдобавок я обнаружил у себя признаки горной болезни, имеющей здесь название «ту-так». Било в висках и в ушах, и со всех сторон раздавался беспрерывный шуршащий шум. Грудь сдавливало какое-то смутное беспокойство.

Путь мой, однако, продолжался без всяких приключений. Ночевку в каждом кишлаке охотно предлагали таджики, приводя меня к закопченным сложенным из камня мечетям, одна половина которых всегда была отделена под «Алау-Хану» — Дом Огня. Эти Алау-Ханы довольно своеобразное учреждение и исполняют одновременно обязанности и гостиницы и клуба, — в них останавливаются проезжие и собираются по утрам односельчане, перед тем как отправиться на пастбище или на пашню. В долине Хингоу или Голубой реки я сделал остановку в жалком пустующем поселке Тоби-Дара, где помещался волостной центр, у подножия скалы Ходжа-Шонд-и-Бурдж, остробашенной и похожей на развалины старинного замка.

Как выяснилось, из Тоби-Дары приходилось свернуть с обычной конной тропы, ведущей к перевалу Сагир-Дашт. В это время года он непроходим. Жесткие метели на самом перевале и частые обвалы в ущельи за ним преграждают доступ в Дарваз на целый месяц. Другой перевал, Хобуработ, считается для этого времени сравнительно более удобным. Но, на мое несчастье, по словам горцев, и этот перевал был для меня закрыт. В Хире-Дарре, Ущельи Медведя, обвалилась лавина, засыпавшая снегом и камнями 30 человек жителей кишлака Хоб, утапывавших тропу, или, как говорят таджики, делавших дорогу.

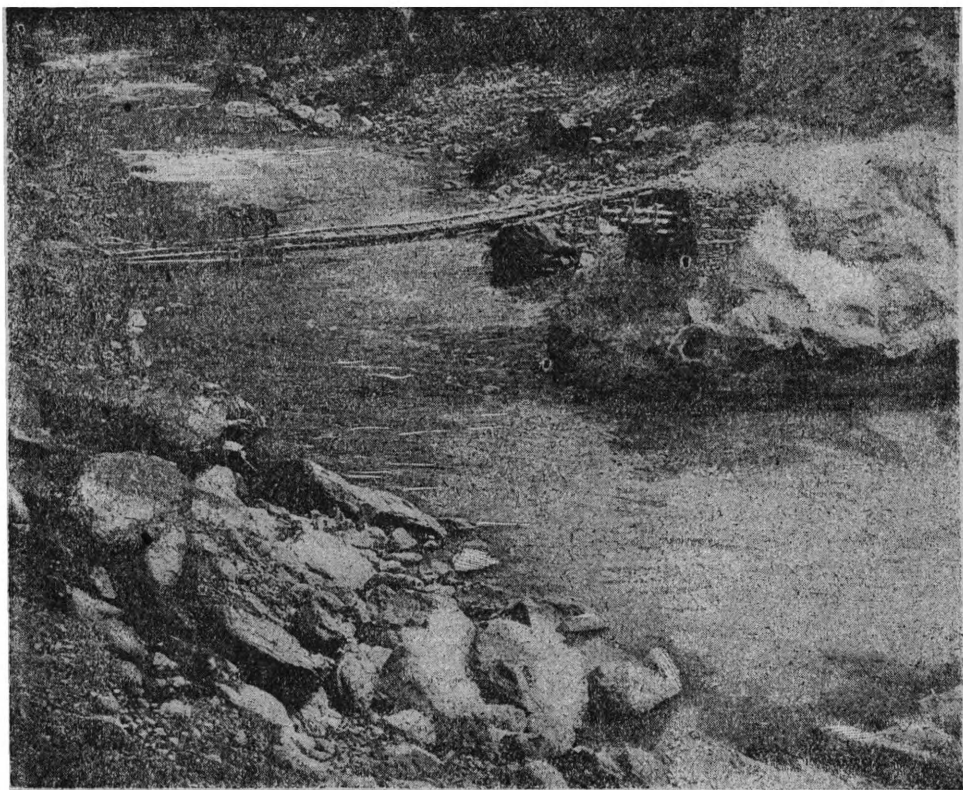
Я оставил лошадь в кишлаке Хизонак. Мне оставалась дорога только через перевал Бом, для всадника недоступный. Арбоб (староста) поселка дал мне трех носильщиков, распределивших между собой почту из переметной сумы. Мы пошли по крутой тропинке, не более полуаршина шириной над ущельем, на дне которого слышалось пробивающееся из-под огромного сне-

гового сугроба журчанье воды. В рас-  
селинах скал сверкающими ледяными  
столбами висели замерзшие водопады.  
Наконец, по узкому и темному, как ко-  
ридор, ущелью мы вышли в долину Бо-  
ма. Горизонт здесь несколько расши-  
рялся. На отлогом скате горы, над  
скрытой речкой громоздились какие-то  
груды камней. Из рыхлого, слепящего  
белизной снега торчали голые черные

чтожный и жалкий урожай, и они вы-  
капывали из земли корни, сохранив-  
шиеся с минувшей осени.

Наше прибытие не осталось незаме-  
ченным. Толпа зашевелилась, и многие  
подняли головы, глядя на нас с тупым  
равнодушием и скукой.

— Салом-алейкум, товарищ! — сказал  
один из них, стоявший к нам ближе  
всех. — Ты, наверно, хочешь у нас оста-



Памир. Река Гунт и мост через нее, один из наиболее благоустроенных  
в горной стране.

остовы тополей и хвойно-зеленые ку-  
сты можжевельника. Это и был горский  
кишлак Бом, на половину занесенный  
снегом.

Мы спустились со скалы вниз. Возле  
самого кишлака, на небольшой камени-  
стой площадке, с которой ветры сдули  
почти весь снег, толпились люди. Они  
были одеты в рваные чакманы и в се-  
рые дерюжные чалмы. Желтые и ху-  
дые, они ковыряли ножами твердую  
замерзшую землю, усеянную льдом и  
каменьями. Их скудная почва дает ни-

новиться, но у нас ничего нет. Иди в  
этот дом. Здесь живет староста Бом.  
Один он достоин тебя принимать.

Я пробрался сквозь узкую снежную  
нору внутрь указанного мне дома. Са-  
мого дома не было видно, — из сугроба  
торчала только крыша, сложенная из  
неотесанного камня. Отверстие в кры-  
ше, заменяющее горцам окно, было для  
теплоты забросано камышом и соломой.  
Я вошел внутрь. В глаза мне ударил  
черный едкий дым. На полу комнаты,  
в углублении очага, догорали, чадая и



трескался от смолы, сучья можжевельника. В нише стены был укреплен железный «чирок» (светильник), состоявший из наполненной маслом плошки и фитиля. В комнате царил грязь. Неосвещенные углы скрывали бедность и нищету. На полу, на затоптанном обрывке кошмы, валялся старик. Он лежал согнувшись и тяжело дышал, глядя вверх тусклыми белыми глазами, покрытыми какой-то мертвенной пленкой. Казалось, он был тяжело болен и не заметил моего прихода.

Когда глаза мои несколько притерпелись к дыму, я заметил в комнате еще одно живое существо. Это была женщина. Она была молода, и лицо ее, изможденное и худое, было довольно красиво. Она возилась у очага, бросая в кипящую воду сухие, побуревшие корни и солому. Пышные черные волосы, немывшие с прошлого года, сбились в колтун. Одета она была в красную ситцевую рубаху с разорванными рукавами, открывавшими слабые и тонкие, как палки, руки, и в желтые дерюжные штаны, доходящие до пяток.

Я поздоровался с нею и сказал несколько слов, прося гостеприимства. Робко и нерешительно она поднялась на ноги и отвесила низкий поклон, сложив руки на животе, в позе покорности.

Носильщики из Хизонака сбросили вьюки у очага. Я расплатился с ними, и, один за другим, не говоря ни слова, они вышли из дому в светлую морозную вьюгу ветряного дня.

Усталый и разбитый десятичасовым переходом, я повалился на землю.

— Ты дочь «арбоба»?—спросил я у девушки.

— Да, господин. Мы бедные люди, скажи, откуда ты едешь?

— Издалека,—ответил я,—из самого Ташкента.

— Сын счастья, — воскликнула она, всплеснув руками.—Тошканд—джон бекан, пуль бегир—закопай душу и бери деньги,—вот как живут в городах на равнине. И какие там женщины! После них ты, верно, и не захочешь смотреть на нас, бедных горянок.

На лице ее появилось подобие улыбки. Она сказала это с каким-то животным кокетством, прикрывая свое лицо

обрывком рукава, так что видны были одни глаза.

В это время старик зашевелился.

— Проклятая шлюха, шайтан, пусть будет волк твоим мужем!—закричал он громким и хриплым голосом,—где научилась ты разговаривать с мужчинами? Ты делаешь лицо мое черным. Хороши эти гости, которые оскорбляют нас в наших домах.

— Я думал, что ты болен, хозяин,—сказал я,—я бы не стал разговаривать с женщиной. Я знаю закон.

— Да, я болен, болен,—неожиданно хныкающим голосом заговорил старик.—Я болен и беден, как и все мы в горах. Я стар, как же мне не быть больным, если я питаюсь соломой и травой? Эй, проклятая!—заорал он на дочь, — покажи высокому гостю нашу еду.

Девушка поднесла мне заржавленную железную миску, наполненную горячей водой, в которой плавали какие-то травы. Это была травяная «сатоля» — похлебка из горьких корней ривоча и кисловатых чукури. В похлебке не было даже соли. Соль дорога в горах, ее привозят с соляных копей Сурхаба и Верхней Вахия.

— Видишь нашу пищу? — снова заявил старик.—Высокостепенный господин, дай нам что-нибудь от своих богатств! Ты господин, а я слуга. Ты мой отец, а я твой сын. Я буду вытирать своей седой бородой пыль с твоих ног.

— У меня ничего нет,—сказал я растерянно.—Все мое имущество состоит из бумаги в переметных сумках. Когда я приеду в центр, я расскажу о ваших бедах. Вам помогут. Вам пришлют семью и дадут денег. Сейчас царя нет, и правительство заботится о народе!

— Не надо нам вашей помощи,—завизжал он, — вы приезжаете каждый год и ждете нам. Но мы еще—прославлен Аллах!—не потеряли ума, мы смеемся над вашими хитростями. Я прожил в горах 80 лет и видел дарвазских князей и басмачей, и царских солдат, и турок Энвера. Все они грабили и убивали и говорили, что завтра наступит счастливое царство. Они—волки, а мы—овцы. Мы так же ответили в прошлом году, когда к нам приезжал, от имени

теперешнего государства, Сельхозбанк-эффенди. Он предлагал нам деньги и сказал, что не хочет с нас пользы и еще пришлет весной людей, которые дадут нам семена пшеницы. Но я открыл мусульманам его тайные планы. Мы выгнали его. Он также говорил, что падишаха больше нет и что чиновники будут о нас заботиться. Зачем станут русские о нас заботиться?

Я был поражен и удручен его чудовищным невежеством, его страстной

Я наскоро поел кислой и отвратительной похлебки и лег на землю, прикрывшись сырой бараньей шкурой. С новой силой засвистел ветер над крышей дома. Сквозь щели в камышах чернело низкое небо. Снаружи была тьма.

Бессонно и тревожно прошла ночь. Несколько раз где-то поблизости прорывался хриплый лай, визг собак и затем надорванный протяжный вой. По жишлаку бродили волки.

На утро, невыспавшийся и утрюмый,



Западный Памир. Праздник дня Советской Конституции.

слепотой к тому, что делается в мире, ненавистью и фанатизмом этого человека, живущего в диком ущелье, куда годами не попадает никто из дальних долин и городов.

— Какал разница, кто они?—смущенно ответил я.—Коран говорит, что все люди—братья.

— Вы не наши братья!—сказал он с жестким убеждением в голосе.—Вы собаки! Наш брат тот, кто на наше «аминь» ответит: «Омин! Аллю-Акбар» («Аминь. Бог велик»).

Он прекратил со мной разговор и снова откинулся на кошму. Казалось, он спит с открытыми глазами.

я потребовал новых носильщиков. Они явились очень скоро. Не прощаясь с хозяином, я вышел из дома. За ночь снегу намело еще больше, и о жилищах можно было догадываться только по входным норам, из которых валил черный дым. Передо мной лежал хребет Петра I, который во что бы то ни стало нужно было перевалить. Носильщики шли согнувшись и тяжело ступая по снегу.

## 2. Над рекой

В ясный жаркий день я выехал в котловину Кала-и-Жумба, наполненную приторным и свежим дыханием распу-

стившихся почек. Я устал и чувствовал себя плохо. Переход от ледяного перевала Бом к поздней весне Дарваза отражался во всем теле вялостью и утомлением. Я не стал, однако, задерживаться в самом Кала-и-Хумбе. Лошадь для дальнейшего пути достал мне Василий Иванович Гортовик, агент Узбекторга и почты в Дарвазе. Он был единственным европейцем в Кала-и-Хумбе и считался «урусом». В действительности это был военнопленный чех, во время гражданской войны попавший на Украину и затем заброшенный в Таджикистан. Ему я сдал корреспонденцию, порученную мне гаремским исполкомом. Я пил чай в старой цитадели, окруженной стенами, спускался на берег быстрой реки Пяндж, отделяющей Дарваз от Афганистана, сидел под деревьями Иряма, сада прежних князей, о котором преувеличенная и пышнословная идет слава по всем горам. Когда-то этот сад был полон павлинов, перелетавших с ветки на ветку, распускавших огромные радужные хвосты и лунными ночами раздиравших окрестность криками, похожими на мяуканье мартовских кошек. Теперь их осталось только два, остальных пожарили басмачи да перебили ребята, после бегства эмирских чиновников разукрасившиеся павлиньими перьями.

Я выехал из Кала-и-Хумба вверх по Пянджу. Дорога шла над самым берегом реки, то стелясь по рощам шелковицы и ивняка, то подымаясь на высокие каменные холмы. Мы проехали афганский Кала-и-Нусай, расположенный на той стороне бурного и неширокого потока. На крыше небольшого домика, где помещался афганский военный пост, сидел трубач, на хриплом крикливом рожке трубя зорю. Какой-то сипай (солдат) в желтом килете и опромных сапогах гнал перед собой осла, подталкивая его в хвост прикладом винтовки. Ровный шум реки не заглушал шороха повседневной жизни за рубежом.

Мы въезжали в цветущие зеленые кишлаки с темными беззаконными домами, над которыми высились покатые соломенные крыши на шестах, называемые «баллох» и напоминающие огромные насесты. С каждой верстой

становился уже Пяндж. Вода кипела и рвалась белой пеной вокруг огромных скал, торчавших из воды. Здесь начались «овринги» — узкие карнизы над обрывом, кое-где подпертые камнями и балками. Они сменялись крутыми откосами, где из-под ног лошади грохотала гулкая осыпь.

На этом пути особенно памятна мне одна ночевка, когда я спал на крыше ветхого развалившегося дома в кишлаке Жорф. Мы не застали в этом кишлаке никого из мужчин, кто мог бы оказать нам гостеприимство. В домах остались только женщины, мальчики-подростки лет 10-12, да один старик, совершенно глухой и слепой, сидевший у мечети и перебиравший четки. Женщины приняли нас без удивления и смущения, может быть, потому, что нас было только двое — мой коновод и я. Сейчас же на высокий земляной «дуккон» (буквальный перевод: «лавка»; в таджикском языке это слово, как и в русском, имеет два значения), над берегом арыка, была настлана кошма. Мальчик принес блюдо с сушеными туловыми ягодами и деревянную миску с водой из ключа. Со всех сторон к «дуккону» собирались женщины, чтобы посмотреть на чужестранца. Они несли с собой длинные остроконечные веретена и маленькие ручные прялки — «чархи», продолжая поворачивать резную ручку и наматывать нитку на нитку. Подойдя к нам, они садились на корточки, с безмолвным любопытством глядя на меня. Сначала они молчали, но затем одна из них, худая и смешливая девушка лет так 15, задала мне вопрос — кто я и откуда я. Я ответил. Преодолевая смущение, они спрашивали меня о разных пустяках, о казавшихся им смешными мелочах моей одежды — широкой кавказской папахе, больших круглых очках, суконной шинели. Затем наперебой начали они рассказывать о своем кишлаке. Разговор их был полон насмешливого веселья и чудовищно непристойных шуток, которые они произносили с бессознательной непосредственностью дикарок. Они спрашивали меня о моих женах, об их одежде, и о том, как я провожу с ними ночи. Мои рассказы о русских городах,



о жизни женщин, о широком мире казались им смешной и замысловатой ложью. Эти женщины чувствовали себя с нами совершенно свободно. Для них было праздником обменяться несколькими словами с чужим человеком.

Стало темнеть и один за другим начали возвращаться мужчины, гоня перед собой с тоскливыми криками низких, ширококостных буйволов, впряженных в тяжелое ярмо. Я не успел

таджика-крестьянина, с тяжелой ношей на спине, или афганского чиновника верхом на стройном каттаганском коне, кричавшего нам встречный салам и осведомлявшегося: «Чи хабар аст дар доулят-и-алия-и-русия? Что за новости в высоком государстве русских?».

На третий день пути после выезда из Кала-и-Хумба мы подошли к котловине Водхуда, за которой виднелся широкий отлогий Ванч. Воды его пробива-



Хорог. Состязание в стрельбе таджиков и красноармейцев. У таджиков кремневые ружья на рогатках.

оглядеться, как женщины, так же легко и незаметно, разлетелись во все стороны. Ни одной из них я больше не видал до самого моего отъезда из Жорфа. Несколько раз за стеной дома или каменным забором мелькало улыбающееся лицо и опять исчезало.

Из Жорфа мы выехали дальше на Тогмай, Кирговат и «овринги» Пшихарва. Пяндж был заключен здесь в узкий скалистый коридор, по обеим стенам которого лепились опасные тропинки, укрепленные камнями и ветками. Изредка на тропе, проходившей с афганской стороны, можно было видеть

лись откуда-то с востока к желтому и беспокойному Пянджу. Впереди лежал базар Кала-и-Рохарв, где в эмирские времена был центр амляка и жил бухарский чиновник, собиравший с горцев подати. Это была столица Ванчской долины — богатого Ванча, торгующего ножами, косами и серпами, родины кузнецов и железоплавов.

### 3. Железная болезнь

Рауф отпер огромным ржавым ключом старинные окованные ворота крепости, окруженной каменными стена-

ми. Мы вошли на узкий глинистый двор, к которому примыкали низкие мазанки, с резными деревянными колонками и сине-золотым узором на сводах. Крепость была пуста, но носила явные признаки недавнего присутствия людей. На пристройках висели плакаты с надписями на русском языке: «Цейхгауз», «Красный уголок», «Политкомиссар». Везде валялись пустые патроны и продырявленные мелкие котелки.

В углу двора, возле деревянных конюшен, белело объявление: «Товарищи! Выступление в Гарм назначено на 17 мая 1925 г. Наш исторический долг перед бедной и крестьянством долины Ванча выполнен. Контрреволюционное движение ликвидировано полностью, и озверелые орды басмачей... Рядом висела бумага, на которой большими буквами было написано: «Приказ № 98».

— Это было 2 года назад. Они ушли, и каждый подал мне руку,— сказал Рауф, покачивая седой козлиной бородой, — а командир говорил: «Смотри, Рауф, береги крепость, мы еще вернемся. Здесь книги и много вещей. Не позволяй никому ничего брать». И я провозжал их до самой реки Пянджа и подарил им на память железо из наших рудников, первых рудников в мире. Вот их книги, смотри, товарищ.

Он открыл маленькую, низкую дверь. Я увидел обитые алым ситцем стены «красного уголка» и небольшую этажерку с книгами. Это были по большей части книги по политике и военному делу.

Удивленный, я остановился. Меньше всего я ожидал найти здесь книги, тем более русские книги,—и эта библиотечка в глухой долине, куда и путь-то открыт всего несколько месяцев в году, не могла меня не поразить.

— Я все сохранил! Все!—продолжал Рауф. — Иначе наши крестьяне все бы разграбили. Они говорят, что это—книги ада.

Мы вышли из крепости. У ворот ждала нас целая толпа ванчских таджиков, тихо переговаривавшихся между собой. Они были одеты в грязные лохмотья из самодельной бязи. У них была желтая одутловатая кожа, и поступь

их странно напоминала индюков. Близи это объяснялось очень легко. У каждого под подбородком висел мягкий и дряблый зоб, заставляя их поднимать голову выше и держаться прямо. Это придавало им гордую и, я бы сказал, величественную осанку.

— Что так пристально смотришь на нас?—спросил меня улыбающийся старик, такой худой, что зоб его и голова казались двумя пузырями, надетыми на палку.

Я смутился и не знал что ответить.

— Не беспокойся, — продолжал старик,—эта болезнь—зоб, и ею страдают все в наших деревнях. С давних пор, времена наших дедов, было так же. Каждый поселок нашей долины страдает какой-нибудь болезнью. У нас зоб, и это хорошая болезнь, потому что она никому не мешает, а есть кишлаки, в которых все мужчины идиоты и одержимы злым духом. Есть кишлаки, в которых женщины кликуши, и такие кишлаки, в которых мужчины не способны производить детей. Такой кишлак—Гумас, куда ты едешь.

— Отчего это?—спросил его я.

— Кто знает. В прошлом году сюда приезжали трое русских—собирали наши сказки и песни; с ними была одна женщина, которая знает все языки,—они говорили, что наши болезни происходят от дурной воды. А мы сами думаем по-другому. Мы думаем, что это от того, что в нашем краю слишком много железа. Посмотри, возле каждого поселка—железные копи, и нет ни одного человека в Ванче, который не занимался бы выделкой железа. Послушай, звенят молотки кузнецов!

Я прислушался. Со всех сторон доносился тонкий и назойливый стук молоточков, похожий на громкое и звонкое стрекотанье кузнецников.

В горах Ванча с незапамятных времен занимают кузнецным делом. Переписчик из Дюшамбе, работавший здесь в марте 1927 года, не отметил во всей долине ни одного человека, который не показат бы своим подсобным промыслом изготовление железных орудий и выплавку железа.

Деды и прадеды нынешних ванчцев, по преданию, современники царей Су-

лаймона и Дауда, отца железных мастеров, вырыли глубокие шахты. Они начали разрабатывать руду в каменных скалах, один цвет которых, ржавый и красноватый, говорит о присутствии в породе железа. С тех пор способы добычи и выплавки руды несколько не изменились. Так же, как и прежде, в зимние дни горы спускаются с тусклыми плоскостями в руках в шахту и, проработав целый день «тешой» (небольшая кирка), возвращаются по врытым горным спускам с грузом в несколько пудов железной руды и зажигают огонь в жалких первобытных печах для плавки.

На следующий день мне предстояло ехать в деревню Гумас, где, по рассказам, жил двадцатилетний старик — Бакир-бек, помнящий древний язык Ванча. Язык, на котором сто лет назад говорили жители этой долины, теперь принявшие наречие таджиков.

В полдень я под'ехал к домам Гумаса, спрятавшимся в узком ущельи, — зеленом и благоухающем нежным сладким запахом синджида (местное дерево, с мучнистыми, похожими на финики плодами) и абрикосов. В куш-хану (гостевую) набилось несколько человек. Бакир-бека не было в Гумасе. Он уехал в верховье, к сыну. Две женщины с несчастными глазами и трясущимися руками подали железные кувшины с чаем и светлый рассыпчатый тут-пуст (толокно из ягод тутовника). Затем они сейчас же скрылись, прикрыв руками лица.

— Вот сидит хозяин, — наклонившись, шепнул мой коновод у двери, — это — единственный человек в Гумасе, одаренный обширным потомством. Не вздумай говорить при нем о дочерях. Его зовут Умар-бек, прозванный Чиль-духтарон — Сорок девственниц.

— Откуда такое странное прозвище? — заинтересовался я.

— У него три жены. Он брал их одну за другой, и они принесли ему 18 дочерей и ни одного сына. Он — посмешище всего Ванча и отмечен всевышней печатью. Ни одна из них не умерла. Бедный человек!

Однако, не все, повидимому, были так деликатны, как мой коновод. Из глу-

бины куш-ханы раздался чей-то ележный тонкий голос.

— Расскажи почтенному гостю, Умар-бек, как ты назвал своих дочерей. Знаете ли вы, — обратился тонкий голос уже ко мне, — что первую дочь он назвал Большая Луна, вторую — Разумная Луна, и так до двенадцатой. Но потом у него пошли дочери — Госпожа Умри, Девочка Довольно, Последняя Луна и, наконец, в прошлом месяце у него родилась дочь, которую он назвал Зогча — Ворона.



Хорог. Делегация ущелья Баржанг, явившаяся просить об установлении в ущельи соввласти.

Умар-бек отвечал проклятиями и ворчливой бранью.

В это время снаружи раздалось нестройное пение и громкие возгласы: «Йо Алла! Йо дуст! Йо хакк!». Я вышел за дверь. По осыпавшейся тропе, спускавшейся с перевала, гуськом, легкими скользящими скачками, шли горцы соседней долины Язгулома. Через несколько минут они стояли на площадке перед домом, куда высыпало все население Гумаса. Я заметил, что никто из них, вопреки обычаю гостеприимства, не предложил новопришедшим сесть. Заметив, что я смотрю на

гостей, один из стариков взял меня за рукав и отвел меня в сторону.

— Ничтожный народ, — сказал он шамкающим и скучным голосом, — жалкие язгуломцы. У них у самих ничего нет и они ходят к нам нищенствовать. Они выпрашивают у нас железо и хлеб и каждую минуту упоминают имя бога для того, чтобы мы поверили в их доброе благочестие. Но мы им не верим. Еще тридцать лет назад они были шитами. Они и люди хыгни (памирцы). Они стали поклонниками Четырех Друзей (суннитами) только по настоянию эмирских войск.

— От лица веры мусульманской! — захныкал язгуломец, стоявший впереди. — О Четыре Друга! О Абубакр, Умар, Усман, Гайдар! О народ Ванча, наши благодетели! Вы — наши господа, мы — ваш «раят», ваше стадо. Без вас мы живем, как звери. Пожертвуйте нам железа от своего изобилия.

— Вот горы, — усмехнувшись, сказал юноша-ванчец с отекившим лицом, — ломайте красный камень и выплавляйте железо сами. Запрета нет никому.

— О, аллах, — снова нараспев загнул явля язгуломец, — мы факиры (нищие), мы не обладаем искусством выплавлять железо, у нас нет печей и нет мастеров. И недаром вашу землю называют Дом Кузнецов, и бадахши удивляются вашему искусству. Во имя благочестия мусульманского, подайте нам, вашим братьям!

Все новопришедшие хриплыми голосами подтягивали ему, умоляли и упрашивая. Жители поселка, громко выражая презрение, выходили из своих домов на обрывистый берег Ванча. Теперь никому из них не приходило на ум жаловаться на страшные болезни, поражающие их край. Они больше не чувствовали себя загнанными и вырождающимися бедняками. На лицах их появилась какая-то уверенность и неутомимая гордость. Они выходили из садов, вынося — кто обгрызанную и окаменевшую лепешку, плоскую как подкова, кто ржавый кусок железа, кто осколки железного кувшина, топор без топорница, бурдюки с полусгнившей мукой. Это были дары изобильной долины Ванча. Подаячка бедняку. Лицемерная попытка откупиться от судьбы.

#### 4. Долина тени

Переход через перевал Гушхон, ведущий в ущелье Язгулома, продолжался два дня. Мы надевали шубы и из жарной духоты долины выходили к рыхлым, глубоким и нестерпимо сверкающим свежным сугробам. В руках у нас были длинные «охотничьи палки», помогающие горцам балансировать на откосе. Назарихудо, — так звали моего коновода, вернее, проводника, так как мы шли пешком, — скользил по снегам перевала, нацепив на ноги небольшие лыжи, сплетенные из веток какого-то кустарника. Этот тип лыж, специально назначенный для перехода через «кутали», или перевалы, называется у местных жителей «барф-моляк».

За перевалом дорога спустилась в лежащее уже в пределах Язгулома урочище, где находились первые летовки язгуломцев. Это были маленькие пастбища. На небольшом, покрытом травой пространстве, среди камней, паслось несколько тощих коз и баранов. Их сопровождал мальчишка-пастух и несколько женщин, доивших овец и приготовлявших на зиму сыр и масло. Здесь нас встретил «председатель волостного совета язгуломской долины» старый Махмадулло-бек. Не знаю каким образом, но, очевидно, еще до нашего прихода разнесся слух о нашем прибытии, иначе он не выехал бы нам навстречу, в сопровождении нескольких пеших язгуломцев, одетых в рваные серые чекмени. Председатель ехал верхом и при нашем приближении спешил. Это был благообразный старик, в пестром богатом халате. На носу его торчали большие разбитые очки в кожаной оправе. Не дойдя до нас шагов десяти, он крикнул на певучем дарвазско-таджикском наречии: «Ассалом-алейкум! Ваше благородие, по какому делу изволите нести свою милость? Джаноб-и-шумо. ба чи кор ташриф ми орид?».

Отдав ему ответный «салам», я начал запутанно объяснять, что приехал-де в Язгулом по делу службы, чтобы посмотреть, кто как живет, хорошо или плохо.

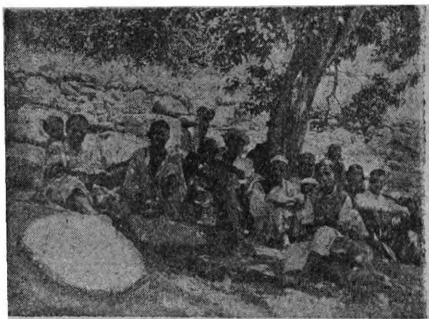


— Об этом вам расскажет старец Шах-Камон,—с улыбкой отвечал председатель,—мы что можем вам рассказать? Мы не ученые люди. Мы можем только принять вас, вы—вилайетский человек. Для нас великий гость. Вы расскажете нам о нашем начальстве, которое никогда не доезжает до нас, так суровы наши горы. Кто нами правит? Кто великий «раис» (глава) государства? Кто его «наибы»? Сам я ничего об этом не знаю.

— Но ведь вы председатель «аджрокума» (исполнительного комитета)!—удивился я.

— Да, сударь, я—раис этой земли. Я был здесь и во время эмира, который пожаловал мне капитанский чин. Эмир был великий тиран и притеснитель, — последние слова он произнес скороговоркой и кланяясь мне, — нынешняя власть — Советы — утвердили мое главенство, когда мы послали скорохода с бумагой о моем избрании в Кала-и-Хумб. Вот и все, что мы знаем.

Мы шли по тропе все время вниз и, когда дорога повернула в ущелье, раздвинувшееся в не-



Язгулом. Семья Махмадулло-бека.



Западный Памир. Старуха Рушан-Оробогул с внучкой.

широкий колодезь, на дне которого текла река и зеленели тополи и тутовники какого-то поселка, председатель, протянув руку вперед, сказал:

— Река Язгулом и мой кишлак Джафак!

Мы остановились возле расцвеченного узором растений глинобитного дома, где жил сам председатель. Махмадулло-бек указал мне место на ковре под навесом с резными деревянными колоннами. Остальная толпа расположилась перед домом, под развесистыми деревьями тута.

Старшина деревни вынес чай и угощение, состоявшее из тутовой халвы и урючных косточек. Все набросились на лакомства, и в минуту на разостланных по земле платках ничего не осталось. Затем в огромных мисках подали «атоля» — пресное хлебо-во из воды и муки.

— Вот пища Юздома, — сказал мне старшина деревни,—пища, которой у вас в стране долин никто не ест. Это халва — «тут-пуст». Не правда ли, он вкусный и сладкий. Но он не кажется нам таким вкусным и сладким зимой,



Хорог. Заезжие афганские купцы.

когда у нас хлеба и мы по несколько месяцев едим только его и пьем воду. Такова пища Юздома и таков же язык Юздома, который, кроме нас, никто не понимает в мире.

— Что такое Юздом? — спросил я. — Я никогда не слышал о таком языке и о таком народе. И разве вы не говорите между собой по-таджикски — на языке фарси, на котором говорят везде в горах?

— Юздом — это мы, — отвечал старшина деревни, и председатель важно кивнул очками в подтверждение его слов, — вы зовете нас язгуломцами и язык наш — язгуломским, но действительное имя нашей страны есть Юздом. Обо всем этом тебе расскажет старец Шах-Камон, если ты захочешь его видеть.

Во второй раз я слышал упоминание о Шах-Камоне. — Кто это? — спросил я. Все вокруг заахали и заудивлялись. Неужели я никогда не слышал о Шах-Камоне? Действительно, из далеких мест приехал я. Шах-Камон — это слава Язгулома. Быть может, это один из самых старых людей в мире. Давно прошел год, когда он считал свой возраст перешедшим за 120 лет. И он помнит всю историю Язгулома.

Наступил вечер. Солнце зашло за горы, и через полчаса стало совершенно темно. Перед домом зажгли костры. Встречавшие меня горцы затянули тоскливые таджикские песни. У юздомцев нет собственных песен.

— Слушайте, — сказал мне Махмадулло-бек тихо, — пойдемте в сад, чтобы никто не знал, о чем мы будем говорить. И пусть с нами пойдет мулла Хакназар — секретарь совета. В доме нехорошо. В стене есть мышь, а у мыши есть уши, говорит пословица. Скажите нам одно слово правды.

Я приготовился слушать.

— Вот что! — продолжал он. — Я говорил вам о том, что мы ничего не знаем, что делается в мире. И это правда. Но кое-что все-таки достигло наших ничтожных ушей. В нынешнем году из дальних городов Кокандского ханства вернулся наш язгуломец Ноукаяр-Шо, пробывший там 15 лет. Он нищий и дерзкий человек, и он говорит

нам о нынешнем государстве невозможные вещи. Правда ли, что в Коканде разделили землю и воду и хотят делить у нас? Может ли это быть, и справедливо ли это? У всех нас, кто в почете у народа и может читать Писание, — много земли. Большие, чем у других. И наши отцы заработали ее потом и кровью. Отвоевали ее у пустынных ветров и холодных камней. И теперь к нам придет сын греха Ноукаяр-Шо — нищий — и захочет ее отобрать. Правда ли это?

— Не знаю, — ответил я нерешительно. Я не доверял председателю и был осторожен, — может быть. Может быть, и правда. Сейчас поздний час. Завтра мы отправимся туда, где живет старец Шах-Камон.

Прошла еще одна ночь. Холодная молчаливая ночь долины. На следующий день, в сопровождении Назарихудо, я отправился в верховья Язгулома по направлению к области неисследованных ледников и стоков горных рек.

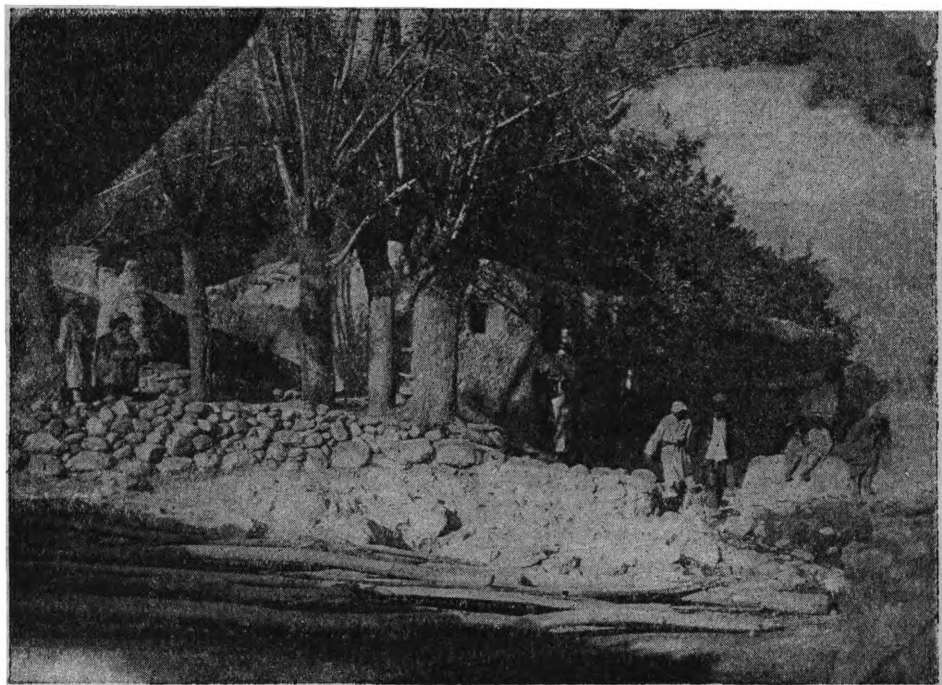
Всадник может проникнуть в Язгулом только от устья реки и до Джафака. Выше идет исключительно пешая тропа, в некоторых местах исчезающая совсем. И тогда приходится карабкаться на четвереньках, хватаясь руками за острые выступы камней. На ногах у нас были «чоруки» — мягкая, похожая на мокасины обувь, помогающая по-обезьяньи цепляться ногой за выступ тропы. На второй день пути по этой дороге мы пришли к селению Бар-Нават, в четырех верстах от урочища Хазрати-Зюлькарнайн — могилы Александра Македонского. Язгуломцы твердо убеждены, что завоеватель мира, о котором говорят все народные песни и старинные мусульманские книги, окончил свои дни именно здесь, в диком верховьи Язгулома. Селение — это, впрочем, сильно сказано, так как все селение состояло из двух домов. Меня приютил Одина — странствующий кузнец, каждый месяц с мешком инструментов за спиной обходящий все поселки родного ущелья. Он был единственным кузнецом в ущельи и, кроме того, пользовался славой знахаря и чужда.

В честь нашего прихода Одина устроил «базм»—пирушку. Это был маленький бородатый человек, напоминавший гнома, суетливый и льстивый. Каждую минуту он выбегал из дома и возвращался с новыми «лакомствами». Там был неизбежный «тут-пуст», безвкусная лапша из ячменной муки, блюдо с кислым молоком, куда за неимением ложек все по очереди макали грязные пальцы и, наконец, дорогое блюдо — соль, разведенная в

— Все, все ушли дорогой Адама,—в исступлении кричал хозяин дома,—все ушли и никогда не вернутся. Одинаковая очередь приходит для солнечной стороны и для теневой стороны. Знаешь ли ты, что это значит?

— Нет,—ответил я. И это была правда. Я мало понимал в его словах, произносимых на ломаном таджикском языке.

— Солнечная сторона,—это сторона счастливых. Это северная сторона, па



Дом, где курят опиум.

горячей воде. Соль — редкость в кухне язгуломца.

Сыновья Одины били в барабан и играли на странных первобытных инструментах, с грифом длинным, как тело змеи. Один из них, рябой и страшный, затянул нежным гнусавым голоском начало какой-то старинной песни.

— Где нынче свита трона Сулеймана? — пел он. — Где тени падишаха? Войско хана? — Где слава Кайсара (Цезаря), Дары и Рустама? — Где властелин короны Бадахшана? — Кто вспомнит их и кто споет им славу? — Они ушли дорогою Адама!

которую падают лучи солнца в полдень. Пашни солнечной стороны зеленеют, и хлеб на них рано созревает, и поселки, живущие на солнечной стороне, процветают и счастливы. А те, кого судьба поселила на стороне вечной тени, живут в голоде и нищете. Дарваз—солнечная сторона, мы—сторона теневая.

Я вышел из дома Одины. Вокруг, на спускающихся к реке крохотных клочках земли, были расположены скудные пашни: Отовсюду из земли торчали острые камни и рос пышный бурьян, заглушавший посевы хлеба. Над бур-

ным и шумным потоком, с ровным грохотом ворочавшим лудовые валуны, был переброшен узкий мосток, состоявший из скользкой и полусгнившей доски. По нему шел дряхлый сгорбленный старик с тяжелым мешком на спине. Он шел уверенным и бодрым шагом, не глядя в стремнину, кипящую под мостом.

— Вот идет старец Шах-Камон, — сказал мне Одина, — он достиг глубокой старости и совершает «зиорат» — паломничество к могиле святого Александра. Если хочешь, расспроси его о прошлом нашей страны.

Я отошел в сторону. Прошлое? Оно было передо мной — прошлое этой страны: тусклая, полная бедствий жизнь, вечный голод, непроходимые горные тропы, заслоняющие небо горы. Этот суровый и безнадежный порядок.

### 5. Мистер Саид-Гулом-Махмад из Индии

Я ехал по Пянджу. Было начало мая — время праздника ластбищ. Прошло семь дней после выгона скота на летовки, и язгуломцы справляли праздник молока, — торжественный и веселый праздник. На камнях зажгли костры, и молодежь прыгала через них. Бродячие «раккосы» (профессиональные танцоры) из Роушана, украшенные дикими тюльпанами, исполняли Танец Коня и Танец Сабли, и женщины разносили кислое молоко в бурдюках и овечий сыр. У женщин были открыты лица, как у всех женщин в Язгуломе и в странах выше по Пянджу. Они совершенно свободно принимали участие в танцах и сборищах, наравне с мужчинами. Хор юношей, стройный и громкий, затягивал начало хоровой песни: «Гюль пиши-ту андохыт, — Нозу бада-ниро. — Я бросил к твоим ногам розу, — Твоему нежному телу». — И встречный хор, хор девушек, пониженным строем тихо отвечал: «Бюльбюль зету амухы — Ширин соханиро. — Словью бы у тебя научиться — Нежным словам».

На ровной лужайке, у самого устья реки Язгулом, в месте, называемом Дашти-Гуйбози, жители нижних кишла-

ков устроили игру в поло. В глубине лужайки стоял высокий остроконечный столб, вытесанный из камня. Вокруг столба из стороны в сторону металось несколько десятков всадников с длинными шестами. Эта игра — излюбленная игра памирцев. Отсюда в древние годы она перекочевала в Индию, а из Индии через англичан распространилась по всему миру.

По бокам лужайки теснились оборванные толпы зрителей в чалмах и в черных чекменях. Всадники, очевидно, разделялись на две враждующие партии, выбивавшие друг у друга маленький, невидимый для глаза, мяч, катившийся по земле.

Я не стал дожидаться конца игры и выехал дальше. Тесные, выходящие над самой водой овринги Кун-и-Гоу — Коровий Зад — выводили меня за последние летовки язгуломцев, к границе Роушана. Здесь начинался собственно Памир, кончалась Восточная Бухара и Дарваз. Пейзаж был, однако, все тот же. Только выше становились горы, и один из-за другого выходили новые снежные хребты, слетающие великий узел Гиндукуша. С правой стороны дороги, из Афганистана, здесь вливался какой-то многоводный поток, по берегам которого не было ни пути, ни тропинки. Это была река Дарраи-Шир, одно из верховьев Пянджа, очертания которого разные на всех картах. Вдали показался первый памирский кишлак — Шипат.

Как ни странно, Пяндж был здесь шире, и течение его было спокойнее, чем ниже по реке, в Дарвазе, где он прорывает каменный хребет Петра I. В первый момент мне показалось, что я выехал к водам какого-то неширокого, спокойного озера. Но бурно проносящаяся по поверхности рябь, крутящиеся травы и ветки по середине течения говорили о том, что это все-таки горная река.

Шипат был небольшой, весь в садах, поселок, с тенистыми деревьями, крошечными полями и огородами, пересеченными во всех направлениях маленькими ручейками, с холодной и прозрачной водой. Я остановился у дома старосты деревни. Поводья у меня при-



нял какой-то маленький человечек, с блокурой бородкой и голубыми глазами. На нем была большая светло-желтая чалма, завязанная на индийский манер — хвостом сзади, и за ухом торчал цветок. Он помог мне слезть и чмокнул меня в руку, кланяясь и бормоча таджикски: «Ничего, ничего, товарищ, такой у нас обычай. Мы темный народ, а вы, наши отцы, принесли нам свободу, независимость, благоденствие. Советская власть — защита бедняков. Хуш омадид, добро пожаловать!».

— Обод бошид, процветайте, — ответил я традиционной фразой. Я не был смущен его льстивой и подобоострастной манерой, прекрасно зная ей цену. Вся эта «бухарщина» — наследство бескиш и ханских времен, и трудно ее изжить народам гор.

Когда подали чай, вокруг меня собралось несколько стариков, заведших со мною разговор. Они также обращались ко мне с рабской вежливостью и привставая при каждом слове. Тем не менее, по предметам, занимавшим их, я сразу мог увидеть, что я покинул Восточную Бухару и нахожусь в другой стране. Они говорили о переделе земли, произведенном горно-бадахшанским исполкомом. Особенно горячился один из них.

— Передадим на суд высокого гостя, — сказал он, глядя на меня, — пусть сам он скажет, кто из нас прав. Речь идет о зякете, который мы отправляем Присутствию Имама. Этот зякет не обязательный, размеры его не определены. Это — добровольная подать, которую мы отправляем каждый год в Индию, ради службы богу. В этом году мы получили новые наделы земли. Приезжал русский «анджинор» из Хорога и провел нам воду. Теперь нам нужны семена и нужны быки, чтобы обрабатывать землю. Поэтому мы хотим в этом году дать меньше денег, чем всегда, для отправки Ага-хану. Правы ли мы?

В это время откуда-то из-за угла дома послышался чей-то острый и насмешливый голос.

— Ты почтенный и достойный человек, Иор-Мухаббат-Шо. В минутном разговоре с чужеземцем ты успел на-

рушить две заповеди веры: тайну исповедания и поверженность к Имаму. Ты отказался жертвовать от своего изобилия на утверждение Буквы и ты открыл нашу связь с тем, в ком живет душа Пяти. Могу тебя одобрить.

К айвану (террасе), где мы сидели, подошел высокий стройный таджик, произнесший эти слова. Он был в богатом черном чекмене и высоких сапогах. Лицо его было тщательно выбрито, и черные жирные усы были закручены вверх. При его приближении все встали. Жаловавшийся мне на зякет старик также вскочил и поцеловал ему торопливо руку.

— Простите меня, превосходительный ишан-Саид-Гулом-Махмад. Я согрешил по невежеству и неразумию.

Не глядя на него, ишан сел рядом со мной и попросил у меня папиросу.

— Я из рода Ходжа — ишан, — сказал он. В его голосе совершенно не слышалось подобоострастия его односельчан, скорее это было самодовольство и высокомерие. — Я езжу каждый год в город Бомбей к нашему великому имаму. Слыхали ли вы о нем?

Я знал об Ага-хане довольно много, хотя, вероятно, немногие из жителей СССР слыхали о том, что собой представляет верховный глава секты исмаилитов. Между тем, о нем следовало бы знать. Нити его могущества, основанного на поддержке англичан, тянутся до самых наших пределов и проникают даже к нам. Ага-хан — это римский папа, далай-лама и хутухта для последователей древней мусульманской секты Исмоилия. В наших пределах его последователи сплошной массой населяют всю Западную половину автономной Горно-Бадахшанской области Таджикистана. Сам Ага-хан живет в индийском городе Бомбее, носит титул принца британской империи, председательствует на всемусульманских конгрессах и владеет огромными заводами в бомбейском резидентстве. Время от времени он наезжает в Европу, танцует в Париже последние модные танцы, держит лошадей на лондонском дерби, и все европейские журналы помещают фотографии «его высочества

принца Ага-хана на принадлежащей ему яхте «Гималайя».

Вера исмаилитов называется тайной и имеет несколько ступеней посвящения — «давват». Посвященные получают, главным образом, только «ишаны» — наследственная духовная аристократия памирцев. Простые таджики-крестьяне не посвящаются в «тайнства веры». Их обязанность — знать только основной догмат, а именно: Ага-хан есть имам, наместник пророка на земле, и основные правила — плати зякет (подать) и скрывай свою религию от иноверцев. Они не обязаны даже произносить молитвы — считается, что бог и Ага-хан всезнающи и не нуждаются в молитвах. Ишаны получают свои знания от старших в роде.

В общем, рядовые исмаилиты довольно безразлично относятся к своей религии. Все догматы и правила заменяются у них обожанием ишанов и Ага-хана. Соседние с памирцами сунниты — дарвазы и афганцы — упорно утверждают даже, что исмаилиты считают своего Ага-хана богом. «Оно ар соль ба Худо-и-Худшон пуль-и-пайса рои микунанд — они каждый год посылают последние гроши своему богу», говорил в Гиссаре афганский таджик Хаджи-Рахматулла, описывая мне отсылку памирцами зякета (подати) в Индию.

Советизация застала на Памире глухую невёжественную массу, бывшую в полном подчинении у своих наследственных старшин. «Завоевание Памиров», закрепленное царским правительством в 1895 году, казалось для памирских таджиков тем, что они были отданы на произвол бухарских чиновников, преследовавших и грабивших исмаилитов, принадлежащих к еретической секте. Советизация была воспринята исмаилитами, как провозглашение «государства Свободы». Исмаилиты по собственному почину образовали отряды добровольной милиции, отбившие без помощи красноармейцев от Памира отряды бухарских басмачей. В волостях были избраны исполкомы и налажен советский аппарат. Но влияние Ага-хана от этого не пошатнулось.

Каждый год в июле месяце посланцы Ага-хана привозят письменные грамоты-указы, обращенные «ко всем верным», и каждый год особые выборные представители, «закили», везут налог, собранный с каждого двора, в казну бомбейского живого бога. Они снаряжают караван и получают визу уполномоченного Наркоминдела и отправляются в дальний путь, через Баругиль и Сархад, дорогой, от века считавшейся непроходимой.

Я глядел пристально на ишана. Передо мной и был один из тех, кто поддерживает связь диких горцев с их «сверхкультурным» вождем. Ишан заметил это.

— Вы смотрите на мой «васкат» (жилет)? Он «куайт вэлл». Я купил его на базаре в Блэктоуне, там, где живут хунды Бомбая. Каждый раз я привожу оттуда много вещей: «бутс», розовое масло, «динамо» — фонарь, с заключенной в него молнией. Не правда ли, я не похож на диких людей — «дарвози», которых приходилось видеть саибу?

— Совсем не похожи, — ответил я, — как много вы говорите английских слов! И я вижу — вы бреете бороду, разве это разрешено законом?

— Все разрешено законом, что хорошо. Мы, исмаилиты, родные братья фангангам (англичанам) и, конечно, урусам, саиб, — так говорил нам его святейшество имам Ага-и-хан на последнем приеме в его загородном «бангало» на Малабарском Холме. Сам имам бреет бороду и мы, ишаны, тоже стали брить бороду.

— А когда вы снова едете в Индию? — спросил я.

— Мы едем скоро. Через неделю будет окончен сбор зякета. Последним его привезут жители ущелья Бартанг. Они привезут его в «карбосах» (отрезы бязи, по двенадцати аршин каждый), потому что в Бартанге не ходят деньги, и вместо наших рупий или «сум» (рублей) там ходят карбосы. Затем мы составим караван, и «товарищ начальник» в Хорге даст нам бумажку с пропуском, и мы отправимся в Чатрор. Там читральский властитель «михтар» даст нам проходные бумаги, и саиб-резидент поставит на нем печать ингриссов

(англичан). После этого нас пропускают в Пешавур. А оттуда мы садимся в «вагган» и едем по Дороге Огня в самый город Бомбей — Джойдод-и-Бомбаи — Источник Справедливости. Перед лицо самого имама.

— А как, не притесняют вас англичане? — спросил я.

— Нет, саиб, совсем не притесняют. Там хорошие порядки, саиб. Там ученым и богатым людям оказывают большое уважение, и нищий не сможет сказать против них слова. Господин наш Ага-и-хан пользуется поклонением даже англичан, хотя они язычники и ходят в бутханы (кумирни). Я видел эти бутханы, украшенные крестом, много раз, когда был в Хиндустане. Сам Джан-Вуд, наместник английского падишаха, ездил к нашему имаму из Лагора в Бомбей. И наш имам...

— Наш имам, наш имам, — раздался откуда-то со стороны насмешливый и передразнивающий голос. Я оглянулся. Перед айваном остановился какой-то всадник в белой тюрбейке, с винтовкой и в форме пугнанского милиционера. Он слез с лошади и закинул поводья за лuku.

— Наш имам, — продолжал он, — я знаю, откуда ты берешь свои рассказы.

Он покровительственно и презрительно похлопал ишана по спине, отчего тот испуганно сжался.

— Я знаю, что такое наш имам. Я один из всех пугнанских милиционеров не плачу ему жалета. Все другие платят. Мне известно, как возят золото в Бомбей. Вы везете с собой золото и по дороге вьюки становятся легче. Затем вы приезжаете в Бомбей и поселяетесь в богатом «бангало» (загородном доме) и вас кормят и поят на таджикские деньги — из казны Ага-хана, — и вы едите столько жирных вещей, сколько не ели за всю свою жизнь. Потом вам устраивают маленькое чудо. Только о толковом, хорошем чуде я что-то не слыхал. Ни разу еще его святейшество не воскресил мертвецов, а все чудеса в том, что имам появляется сразу в нескольких местах в одно время. Да кто же проверял это время?

— Чудеса бывают внешние и внутренние, — сурово сказал ишан, — са-

мо существование нашего владыки есть внутреннее чудо. Каждая эпоха имеет своего имама. Страшно подумать, что было бы с миром, если бы в Бомбее не жил наш заступник!

Ишан замолчал, недовольно надувшись. Он развязал широкий пояс, в котором лежало у него зеркало и были завязаны мази для усов, и стал пристально рассматривать свое отражение. Он был оскорблен и обижен. Я не стал больше надоедать ему разговорами и попросил старосту кишлака устроить мне ночлег. На следующий день я выехал в Вамар, столицу Роушана.

Был ясный вечер, когда я стоял у стен угрюмого замка Кала-и-Вамар. Его высокие двухсотлетние стены, сложенные из серого обтесанного камня, были тяжеловесны и давили, а огромные, обитые железом, ворота напоминали неприступные стены Вавилона. Вокруг лежали дома, селения и маленькие разгороженные поля. На одном из них стоял старый таджик, с тяжелым трудом ковырявший землю мотыгой.

— Погляди вокруг, — сказал он, — наш край носит название Роушан, что значит — Светлый. Видал ли ты что-нибудь светлее нашей родины?

Я огляделся вокруг. Солнце заходило. Низкие и мрачные надвигались со всех сторон горы. Это было какое-то торжище холодных ущелий и каменных скал, пересеченных глубокими своими тенями. Наверху, как облака, маячили вечные снега, излучая грязноватое сияние. На горе, на севере, намечалась головокружительная тропинка Ходуд, по которой, уменьшенные отдалением, двигались какие-то фигурки с огромной ношей на спине. Это были крестьяне ближних селений, переносившие ослов на собственной спине. Они шли к высокоторному пастбищу Андарафк...

## 6. Город в облаках

Передо мной стелилась узкая зеленая долина. Голые лобастые скалы, тополя, тутовники. По бокам были отвесные коричневые гряды гор, из-за

которых торчали, как гигантские сахарные головы, какие-то остроконечные снежные пики. По середине долины текла зеленая, взмученная мыльной пеной, головокружительно быстрая река Гунт.

В прибрежной зелени — серые и бурые — толпились грубые, сложенные из неотесанного камня, домики небольшого поселка. Посреди поселка было разбито что-то в роде улицы, с несколькими оштукатуренными одноэтажными домами европейского типа. Вдоль домов, в линию, торчали слабенькие, тоненькие деревца, посаженные, очевидно, всего лишь этой весной. За углом последнего европейского дома находилась небольшая квадратная площадь, где на огромном постаменте с эстрадой стоял маленький бюст Ленина.

Этот поселок был город Хорог, центр автономной Горно-Бадахшанской области, в просторечии Агбо. Его называют городом, несмотря на то, что в нем нет и тысячи жителей и что бывают дни, когда единственный торговец съезным не выходит на базар, и все служащие руководящих учреждений Памира ходят по целым дням из дома в дом и не могут купить еды на обед. Тем не менее, по своему значению это все-таки город — город с большим будущим.

По вечерам в Хороге горит электричество и в красноармейском театре устраивается спектакль или показывают киноленту, и тогда в клуб приходят таджики из кишлака. В четыре часа дня на «главной улице» Хорога бывает даже довольно оживленно. Проходят члены исполкома — шугнанцы в черных пиджаках, галстуках и белых тюбетейках. Затем стучит барабан, и с пением «Кирпичиков», на персидские слова Лахути, выходят пионеротряды, состоящие из таджикских девочек и мальчиков, учащихся в хорогской школе. Это дети исмаилитов — отцы их поклоняются Ага-хану и отсылают ему закят.

Несмотря на темноту и забитость памирских таджиков, во многих вещах они проявляют гораздо меньше косности, чем соседние с ними бухарцы или

киргизы. Особенно это сказывается на положении женщин. Жены памирских таджиков не закрывают лиц. Они совершенно свободно встречаются с мужчинами и также охотно идут в школы или курсы по ликвидации безграмотности. В Хороге есть даже учительницы из шугнанских женщин. Семейные отношения таджиков также довольно свободны. На Западном Памире также часты, как в России, разводы и вторичные браки. При чем не редки разводы по инициативе женщин. Надо заметить, кроме того, что исмаилитский закон — по крайней мере, их «урф», обычное право — запрещает многоженство.

Однако, жизнь памирских женщин тяжела и полна грубыми непосильных трудов. Их давит суровая природа, вечное недоедание и чудовищная нищета, подобной которой нет во всем мире. Женщины ткут и прядут на первобытной «чархе» — индийской прялке. Той самой, при помощи которой Махатма Ганди хотел спасти свою родину. Они идут на поля, где им приходится выпалывать камни, торчащие отовсюду из земли. Они пробираются на пастбища, закинутые в даль на чертову высоту, и несут на спинах овец, потому, что предоставленные самим себе овцы сорвались бы с тропинки в пропасть.

Приезжавшая на Памир весной 1927 года комиссия от таджикского ЦИК'а имела задание предложить жителям некоторых ущелий переселение на свободные земли Переднего Таджикистана — в Гиссарский район. Таким образом, разрядилась бы теснота и жестокая борьба за ничтожные клочки земли среди камней. Мне рассказывали о приезде этой комиссии бартангцы. Они говорили в обычном приподнятом стиле, как всегда говорят памирцы, когда им приходится применять не свое наречие, а персидско-таджикский язык (фарси).

— Каждый из нас отказался, — говорили они, — мы не можем покинуть милую родину. Не уйдем из нее никогда. Здесь жили наши деды и здесь пили свое дедовское хлебово (атоля-и-бобаги) и ели тутовый и ячменный



хлеб. Пусть отдадут нам деньги, которые хотели дать на переселение. Мы купим себе опиума и муки. Не так ли, товарищ?

У здания исполкома Агбо над которым недавно построена новая цинковая крыша и в небо поднят красный флаг, — постоянно толпятся горцы, пришедшие из самых отдаленных добрей Памира для подачи своих «ариза» — прошений. Я просматривал не один десяток их. Все они составлены по-старинному, заведенному беками и эмирами, образцу: «Я, такой-то, сын такого-то, подаю свою униженную аризую защитнику бедных — исполкому и прошу, от лица моей нищеты и слабости, рассудить мое дело» — таково обычное начало. По большей части это споры о выгоне скота к Жилищу Дивов, т. е. на пастбище. Иногда это просьбы ишхашимцев или ваханцев разрешить им отправиться в Индию или в Афганский Бадахшан за солью и за галантереей для хорогских купцов. Среди этих людей, приходящих за «правосудием исполкома», встречаются иногда странные и необыкновенные люди. Одного из них мне случилось встретить в самый день моего приезда в Хорог. Это был Зайн-Убадин-Шо, поэт Роушана — тот самый, который написал песню «Увы, родная земля» — «Афсус, хоки-ватан».

Зайн-Убадин-Шо пришел в Хорог из Роушана пешком, в поисках славы. На нем был грязный рваный чекмень и мягкие сапоги — «пехи», подвешенные на веревочке за спину. Для экономии поэт шел в город босиком.

— Где тут самое большое начальство? — спросил он у меня на изысканном персидском языке. Зайн-Убадин и стихи свои писал по-персидски, а не на «хыгни», местном наречии.

Я указал ему на здание исполкома, куда как раз в это время входил т. Зиннат-Шо, образованный таджик, секретарь исполкома.

— Не он мне нужен, друг, — тордо ответил Зайн-Убадин, — мне нужно видеть «джаноб» (превосходительного) русского товарища, которого зовут Асобо-Адил.

— А зачем же вам нужен Особый Отдел? — заинтересовался я.

— Государственное дело, — произнес поэт, — важное государственное дело.

Перед начальником Особого Отдела ОГПУ Зайн-Убадин-Шо вытащил из-за пояса толстую книгу, с переплетом из кожи яка. Это была тетрадь его стихов.

— Слушай, — сказал он, — я знаю о том, что русские — ученый народ и поэтому пришел к тебе, а не к таджикам из исполкома. Я — Зайн-Убадин-Шо, слава Роушана.

Он прочел посвященную начальнику Особого Отдела оду, написанную по всем правилам восточной риторики. В начале говорилось о восходе солнца, осветившем верхи памирских гор. Солнце он сравнивал с революцией, а горы называл тьмой невежества. Затем в дело искусно вводился автор, легший отдохнуть за трубкой опиума, затем автор засыпает и в видении ему является дух Ленина. Кончалась ода следующими строчками: «О, товарищ Особый Отдел, с моей совершенной бедностью ты не поступишь так, как поступали султаны — эти кровопийцы и николаи (Зайн-Убадин простодушно считал, что Николай не имя, а бранное прозвище), — султан Махмуд обещал поэту Фирдоуси по червонцу за каждый стих, но не исполнил обещания, и султана покрыл позор. О, товарищ Вейзагер, сияющий, как солнце, будь щедрее султана».

— Прислушайся к звону рифм, — сказал Зайн-Убадин, кончив читать, — что за сладость: «вичора» (бедняк) и «хунхора» (кровопийца).

— Чего же вы, собственно, хотите? — сказал начальник Особого Отдела. — Я ведь не очень-то разбираюсь в персидских стихах.

— Верь мне, — отвечал Убадин-Шо, — я великий поэт. И если советская власть не возьмет меня штатным поэтом — у меня всегда есть место у афганского «кифтона» в Кала-и-Барпаядж. Дай мне из казенных денег по червонцу за стих.

Ответ был краток, но убедителен. Обиженный отказом, Зайн-Убадин-Шо повернулся и зашагал назад, по направлению к своей родине Роушану. Он покинул негостеприимный Хорог.

## 7. Крыша мира

Я ехал на восток по Гунту. Дорога подымалась круто в гору, подходя к порогам и водопадам реки и уходя в густые заросли кустарников, покрытых росой. Ото дня ко дню становилось холоднее, несмотря на месяц июнь, по мере того, как я подвигался к верховьям Гунта. На пятый день я миновал широкое холодное ущелье, где были последние таджикские пастбища на этом пути. В некоторых местах берега реки были покрыты толстым синим льдом. С перевала вниз дул ветер. Стали попадаться серые войлочные курты памирских киргизов. Эти места на карте отмечены, как перевал Кон-Тезек. Однако, этот перевал не был похож на все другие перевалы, которые мне приходилось переходить. Гунт здесь исчезал и превращался в узкий быстрый ручей. Тропа стала зигзагами подыматься на склон огромной, поросшей травой горы. И, когда я доехал до вершины, передо мной открылось ровное унылое нагорье, с мягкими очертаниями невысоких гор на горизонте. В другую сторону с перевала не было спуска. Я попал на плоскоегорье.

Это была пустынная, лежащая на уровне нескольких верст высоты, равнина, которой начинаются нагорья Восточного Памира. Езда по этим местам требует выдержки и крепкого здоровья. Здесь нет ничего, что напоминало бы Шугнан и Роушан, с зелеными долинами, бурными речками и водопадами, свергающимися с высоты в ущелья, рассыпаясь водяной пудрой.

Моего спутника звали Худай-Берды. Он был киргиз, присоединившийся ко мне в Хоробе, куда он ездил по каким-то делам своей родовой группы. За дни дороги мы очень сдружились, и он по целым часам угощал меня своей домо-рощенной философией.

— Друзья одинаковы везде, — говорил он, — когда вы почтенны и богаты и у вас китайские ковры, и молодая жена, и стадо в двадцать яков, и пятьсот баранов, — они толпятся в вашей юрте и суют жадные руки в котел, где варится жирное соленое мясо. А когда вы в беде, они откочевывают за сто

верст на север и за сто верст на запад и ни за что не проедут мимо вашей стоянки, хотя бы сам Пророж указал им путь к вам.

Я был удивлен его словами.

— Неужели это правда? — спросил я, — а мне говорили, что киргизы Восточного Памира — народ дружный, гостеприимный народ, помогают друг другу.

— Посмотришь сам, — отвечал он, — увидишь, как живет Исмаил, сторож вон того пикета, что белеет на повороте. Это добрый киргиз — кости Кара-Аяк из рода Мангты.

Сказав это, он замолчал и закутался в огромную овечью шубу. Дул ледяной пронизывающий ветер. Ветер, одинаковый для лета и зимы. Начинался снежный буран.

Мы подъезжали к пикету Чока-Бай, около которого мирно паслись несколько овец, и два яка, широкогорых и мохнатых, мирно щипали траву, засыпаемые снегом. Мы были разбиты и устали от семидесятиверстного перегона с озера Сасык-Куль, где мы видели тысячи плавающих уток и воду, то ядовито-синюю, то нежно-серую.

Здание пикета состояло из трех полуразвалившихся помещений с каменными стенами. Когда-то, когда прокладывалась Большая Памирская дорога, по всему ее протяжению были выстроены такие «пикеты» или почтовые станции, обслуживавшие «высоких проезжающих». Сейчас большинство из них развалилось. К сохранившимся бадахшанский исполком выставил сторожей. Жалованье им было назначено пять рублей в месяц.

Возле пикета никто нас не встречал. Мы стреножили коней и без стеснения, через низкую, без порога, дверь вошли в здание. Внутри стоял черный, разедающий глаза дым. В окна с выбитыми стеклами проникал ветер и снег. Мебели не было никакой. Она была разграблена алайскими басмачами в 1920-м и 1923-м годах. Не было и бесчисленных сундуков, войлоков и ковров, обычных в киргизской юрте. Это было жилище бедняка, лишенное всего. Постель для гостей заменял затоптанный обрывок кошмы, по которому ползали жир-

ные белые вши. В углу была набросана гряда тряпья и мусора. Хозяин угрюмо сидел у костра, разведенного на глиняном полу. Наш приход не заставил его пошевелиться.

— Приготовь нам что-нибудь поесть и вскипяти чай, хозяин,—обратился я к нему.

Он поднял на меня тусклые глаза.

— Если я вскипачу тебе чай,—ответил он,—то я достоин немедленной смерти. Лучше уж сразу убей меня, а не заставляй отправляться в ад. Помолчав, он прибавил:—Моя женщина рождает, я должен молиться, чтобы это был сын. Я учился и знаю молитвы.

— Оставь его,—шепнул Худай-Берды,—мы сами все сделаем,

Я кивнул головой и повалился на кошму. Здесь на полу густой дым как будто меньше ел глаза. Худай-Берды вытащил из походной сумки провизию, отвязал чайник, засыпал зеленый чай и разворошил в костре сучья терескена. Затем и он лег рядом со мной, обессиленный движением. У него начиналась болезнь высоты—«тутак».

В этот момент из груды тряпья раздался громкий крик, перешедший затем в вопль и бульканье. Я подошел ближе. Крики все усиливались. Гряда тряпья, сложенная в углу, заметалась, как-будто одержимая припадком падучей, и ударилась о дверь. Через комнату пролетел порыв холодного, сырого сквозняка, мгновенно оледенивший воздух. Пламя костра зашаталось, перебрасывая чудовищную тень хозяина от потолка к земле и в окно. Казалось, что все вещи ожили и заворожились в пространстве в смертельной тоске и удушьи.

Тряпье полетело на пол, и из него поднялась голова женщины. Рот ее широко раскрылся, а глаза налились кровью и были выпучены. Это была, повидимому, жена хозяина. Окинув комнату невидящим взглядом, она застонала и снова откинулась на пол.

Она разбрасывала весь этот жалкий хлам вокруг себя и металась и билась. Рваные шаровары были спущены и открывали желтые, жилистые ноги. Она упиралась затылком в землю, и все ее тело содрогалось мелкой, болезненной

дрожью, источаясь в почти беззвучном натужном крике. Я отвернулся. Что я мог тут сделать? Я поглядел в угол. Худай-Берды сидел там скорчившись и накрыв голову полой халата.

Хозяин пикета стоял в черном едком дыму. На лице его, плосконосом и изможденном, ничего нельзя было разобрать. Он был похож на ожившего мертвеца, как их представляют себе в детстве. Его руки, с большими пальцами, приложенными к мочкам ушей, были подняты вверх. Он стоял в позе невозможности, быстро и ровно раскачиваясь, и бормотал непонятные слова арабских молитв.

Так прошло больше часа. Я впал в какое-то состояние полугошмара. Дым не давал свободно вздохнуть. В ушах стоял то усиливавшийся, то затихавший шум, в котором я по временам различал звериные вопли женщины и молитвенный фальцет ее жалкого мужа.

Наконец, все затихло, и откуда-то из дымного отдаления раздался детский крик и ясный, звонкий голос: «Огул!» (сын!).

Я открыл глаза. Хозяин все еще стоял в молитвенной позе, не отрывая взора от странного паукообразного комка, копошившегося в тряпье.

Шатаясь и шаркая по полу грудью, киргизка стала на четвереньки, стремясь подняться. Лево́й рукой она шарилась по животу, пытаясь сделать что-то в роде повязки из грязной окровавленной тряпки. Затем, нетвердо управляя своими движениями, она встала.

Не переставая бормотать, муж ее одной рукой подал бурдюк с водой. Роженица наскоро умылась. Затем она схватила плоское деревянное блюдо, в котором желтело свежее овечье молоко, и вытащила из маленького тайника под кошмой серый обслонявленный кусок сахара, многие месяцы хранимый для этого торжественного дня. Она развела сахар в воде и, вздыхая от ноющей и неперестающей боли, стала кормить новорожденного с пальца. В этом киргизский закон. Первые три дня киргизка не смеет кормить грудью.

На лице женщины, усталом и в синих пятнах, горела какая-то скрытая ра-

дость, светлым румянцем озарявшая всю. Бессмысленно улыбаясь, полная животного удивления, она рассматривала сына.

Ребенок был худ. Его тоненькие ручки и ножки были желты и висели, как сломанные лапки цыпленка. На глазах, узких, как щелки, лежала жорка сукрови, предвещавшая в будущем трахому. Несмотря на это, в нем было какое-то эфемерное очарование. Он был сложен пропорционально и казался маленьким взрослым, только что появившимся на свет, чтобы сразу подвергнуться всем невзгодам и ударам нищеты.

— Слава богу,—распевал, между тем, муж.—Жена не что иное, как мешок, я же его хозяин. Женщина—бурдюк, а я—владелец овцы. Я дал ей сына, и ничего другого не могло выйти.

Он снова запел и забормотал молитвы. Затем он опять стал кричать, обращаясь неизвестно к кому.

— Я—новый гость, я—новый гость на земле,—орал он, приплясывая,—я буду богачем и князем, и солдатом, и буду учиться и буду жить! Я снова буду жить в моем сыне!

— Смотри в окно,—тихо сказал мне Худай-Берды, с усмешкой глядевший на эту сцену.—Коршуны летят по сте-

пи. Почему они не приехали раньше, когда нужна была помощь?

В окне я увидел несколько всадников, скакавших со стороны Мургаба.

— Что это значит?—спросил я.

— Режь барана, Хотун,—заорал киргиз жене.—У меня всего два барана и три овцы. Пусть все знают, что я ничего не жалею. Сегодня я гость, новый гость на земле!

Киргизка поклонилась и с ножом в руках направилась на двор. Это было через полчаса после того, как она родила ребенка.

Послышался топот. Всадники оставились возле пикета. Чорт их знает, какими путями они разведали, что здесь готовится еда, что можно пить бузу и есть мясо.

Одного из этих людей я знал. Это был Яры-бек—«кази» (судья) рода мангыт. Тот, к кому обращаются киргизы, минуя советский суд, в важных шариатских делах. Богач и владелец скота, он был скуп и так же, как другие, ехал попользоваться даровым угощением. Это был старый, почтенный человек. Все они были богатые, почтенные люди, и они ехали с лицемерным приветом к ребенку—новому гостю на земле.